

Москва. новости. - 1997 - 15-22 июня - с. 21.

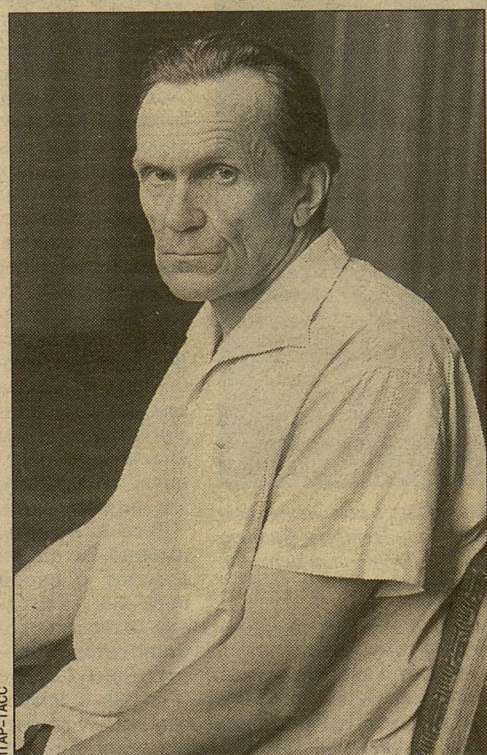
ДАТА

«Мучитель наш»

Заметки к 90-летию
Варлама Шаламова

Конвенция описания разрушена, метафора и сравнение изничтожены как ложь, положительный герой, находясь в аду, оказался полным дерьмом. Этот ад – место, где обнаруживается «последняя» правда о человеке. Символически рассказ «Букнист»: рассказчик знакомится с неким «Флемингом», следователем НКВД, он-то и рассказал о фармакологии, позволявшей подавлять волю у участников процессов 1930-х годов. И посыпалось: генерал-майор Игнатьев – стукач, знаменитый гипнотизер Орнальдо – на секретной работе в НКВД... Здесь, в лагере, спецфармакология не нужна: в аду тайн нет.

Лагерь подавлял волю и без химии. Чаще всего у Шаламова изображен сдавшийся, безвольный, бессильный раб, у которого удалена



Варлам Шаламов. 1967 год.

всякая способность к протесту. Это, кстати, самое страшное и неприятное в шаламовском «нулевом письме»: нет иллюзии протеста. Понурость, обреченность специально отобранных слов лишает надежды на благополучный финал, на победу героя – таково ядро литературной конвенции. «Высотные здания Москвы – это караульные вышки, охраняющие московских арестантов...» – другая символика и в голову не идет. На уровне прагматики текста чувствуется желание измучить читателя, не ведающего про пеллагу и скрюченные пальцы, отомстить ему, благополучному, от лица тех, кто прошел семь кругов ада. Мститель приобрела литературный характер, и потому шаламовские проза, стихи, эссе, письма, дневники – это литература мести, основанная на глубоко прочувствованной ветхозаветной этике. «...Если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану...» (Исх: 21, 23 – 25). «Колымские рассказы» – за Колыму, мучение за мучение.

В 1973 году Шаламов пишет два стихотворения, в которых этика древних иудеев, выраженная в книге «Исход», присутствует в наиболее явном виде. В одном из них («Похолодеет вдруг рука...») поэт обещает вернуться с того света: «...Я еще сюда вернусь, еще вернусь сюда – за вами!». Угроза («за вами!») означает: целью является либо страшный суд, либо отмщение. Другое стихотворение – «Славянская клятва» – еще более определенно: «Клянусь до самой смерти мстить этим подлым сукам, чью гнусную науку я до конца постиг. Я вражескою кровью свои омые руки, когда наступит этот благословенный миг. Публично, по-славянски из черепа напьюсь я, из вражеского черепа, как делал Святослав. Устроить эту тризну в былом славянском вкусе дороже всех загробных, любых посмертных слав».

Ирина Сиротинская не публиковала это стихотворение до 1996 года (впервые издано в книге: Шаламов В. «Несколько моих жизней». Проза. Поэзия. Эссе. М.: «Республика», 1996), и неудивительно: языческая антитеза христ

анской этике прощения врагов представлена в предельной наготе. «Обиды не прощают, их только забывают» – это тоже Шаламов.

И только отправляясь от этой этической точки, точки книги «Исход» и языческих славянских традиций, можно понять сверхидею Шаламова: «Мне отмщение, и аз воздам». С этой идеей он относится к мучителям, к читателям, к литературе в целом: «Реализм как литературное направление – это сопли, слюнявость, пытался прикрыть покровом благопристойности совсем неблагопристойную жизнь». Под этим покровом текли процессы, приведшие к созданию сталинских лагерей. И потому-то литература Толстого, Бунина, Чехова, Горького, Чернышевского заслуживает символического отрицания. О мести свидетельствовал даже сам процесс творчества: «Но людей со мной не должно быть. Каждый рассказ, каждая фраза его предварительно прокричана в пустой комнате – я всегда говорю сам с собой, когда пишу. Кричу, угрожаю, плачу. И слез мне не остановить. Только после, кончая рассказ или часть рассказа, я утираю слезы».

Попробуйте прочитать какую-нибудь фразу Шаламова на крике и угрозе, реконструируйте по «системе Станиславского» соответствующее переживание – и состояние мести готово. Снаружи – суховатая документальность («у меня ведь проза документа...»), внутри – мститель. Шаламов мстит прозой о лагерях, о человеке в лагерях: бессильном, распластанном, способном только подчиняться. Тут мститель и себе – за свое бессилие. К 1938 году, писал Шаламов в «Перчатке», «я завидовал только тем людям, которые нашли мужество покончить с собой во время сбора нашего этапа на Колыму в июле тридцать седьмого года в этапном корпусе Бутырской тюрьмы. Вот тем людям я действительно завидую (завидует даже в 1972 году, когда написан рассказ! – М.З.) – они не увидели того, что увидел я за семнадцать последующих лет».

У меня изменилось представление о жизни как о благе, о счастье. Колыма научила меня совсем другому. Принцип моего века, моего личного существования, всей жизни моей, вывод из моего личного опыта, правило, усвоенное этим опытом, может быть выражено в немногих словах. Сначала нужно возмездие пощечины и только во вторую очередь – подаяния. Помнить зло раньше добра... Этим я и отличаюсь от всех русских гуманистов девятнадцатого и двадцатого веков».

Написано просто и определенно – в ту пору (1972 – 1973), когда идея литературной мести, поэтика воздаяния злом за зло формируется окончательно. Всякие разглагольствования о том, что книги Шаламова «закрываются с верой в честь, добро, человеческое достоинство», – все это ложь, следствие привычки к «русскому гуманизму». Феномен Шаламова – это феномен мучительно-го антигуманизма.

Доброхоты пишут еще мерзким стилем, что «если Варлам Тихонович Шаламов смог достойно выдержать все круги колымского ада и написать о нем кистью мастера, то это – потрясающий подвиг, которому трудно найти аналог». Если... В том-то и дело, что книги Шаламова доказывают: «достойно выдерживать» невозможно, авторское «я», проходящее нетронутым сквозь все круги ада, – не более чем условность, та единственная условность, которую позволил себе автор. И можно догадаться, чем мучился он сам, за что мстил, почему вдруг «смертная дохнет тоска тяжелой горечью полыни», вызывая страсть к отмщению. Видимо, не только за миллион трупов, но и за страшную правду о самом себе, с которой просто жить нельзя, а можно только мстить.

В 1958 году – ему было тогда пятьдесят лет, а в стране – подъем духа от разоблачений прежнего режима – Шаламов пишет самое странное свое стихотворение – «Паук». Странно оно тем, что автор идентифицирует себя с этим кровопийцей, вдруг открывает, что паутина – это остаток крыльев, и именно утраченная способность летать рождает в пауке «ненависть ко всем летящим».

По всем законам психологии такое «вчувствование» может быть лишь в объект самоидентификации. «Паук» – о себе, ненавидящем всех беззаботно пролетающих, беспамятных.

Памяти посвящен рассказ «Прокуратор Иудей»: чтобы выжить, врач Кубанцев забывает, как 5 декабря 1947 года в бухту Нагаево вошел пароход «КИМ» с тремя тысячами заключенных. В пути зеки подняли бунт, и начальство при сорокаградусном морозе залило трюмы водой. С памятью о таком невозможно жить. Шаламов и не жил: мучился сам, мучил других.

Михаил ЗОЛОТОНОСОВ

Родился (18 июня 1907 г.), учился, женился... В перерывах успел поработать на заводе, поступить в МГУ, принять участие в демонстрации оппозиции (1927) под лозунгом «Долой Сталина!», два с половиной года (1929 – 1931) провести в Вишерском лагере (Сев.Урал)... 12 января 1937 года был арестован «за контрреволюционную» троцкистскую деятельность и только 12 ноября 1953 года вернулся в Москву. В 1956 году реабилитирован. Литературная деятельность вперемежку с болезнями заполняет его жизнь. В СССР «Колымские рассказы» не публикуют – издается Шаламов в «Новом журнале» (США). Умер в 1982 году в психоневрологическом доме инвалидов на руках чужих людей: глухой, слепой, со сдвинутой психикой, опекаемый гэбэшниками. Великий и неутомимый писатель, с больной душой, с лагерными рефлексиями, навсегда впечатавшимися в сознание.

Его тяжело читать, о нем тяжело писать. Не понимаю, почему Мандельштам назвал Лермонтова «мучитель наш». Но к Шаламову это определение подходит идеально. Во-первых, дело в описаниях запредельных ситуаций, когда жизнь обесценена настолько, что ее вроде бы уже и нет, а человек оказывается подобием клопа. Во-вторых, дело в глобальном издевательстве над всей прежней литературой, именно в издевательстве, а не в «отрицании», «снятии» в гегелевском смысле и тому подобных благородных вещах. Известен текст Шаламова, в котором он пишет об этом подробно, – письмо Ирине Сиротинской 1971 года, которое под условным названием «О моей прозе» было опубликовано его «душеприказчицей» в № 12 «Нового мира» за 1989 год. Цитат из этого текста надергано предостаточно, и, действительно, трудно удержаться от искушения: «А в наше время читатель разочарован в русской классической литературе. Крах ее гуманистических идей, историческое преступление, приведшее к сталинским лагерям, к печам Освенцима, доказали, что искусство и литература – нуль».

Но издевательством охвачены не только Чернышевский, Толстой и Эренбург, но и Пушкин. Второй рассказ из «Колымских рассказов» называется «На предвкушение». Начинается демонстративно: «Играли в карты у коногона Наумова». «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова» – начало «Пиковой дамы». В дополнение к этому язвительному пуанту, разоблачающему книжность пушкинского «романтического реализма», брошена еще одна деталь: карты получились хорошими, потому что их вырезали из томиков Виктора Гюго: «Бумага была плотная, толстая – листков не пришлось склеивать, что делается, когда бумага тонкая».

От Гюго остается просто бумага, характеризующая чисто физически: плотная. Та же процедура проделывается с человеком, который перестает быть «человеком для себя». Важно, опасен он или нет, зол или добр, силен или слаб. Вот этот беззнаковый остаток и есть человек Шаламова: индивидуум утрачен, гуманизм, заключавшийся в вере во спасение (хотя бы тела, если не души), отменен. Вера отменена тоже как категория: никто никому не верит, потому что обесценено слово, а следовательно, прошлое и будущее, этими словами описываемые. «Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя – дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и все. Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им...» («Ночью»). Это мир, в котором инстинкты не подавлены, а выходят наружу, поэтому нет символических форм поведения, маскирующих то, что таится в подсознании. Не маскируется ничего, и потому лагерь и внелагерьный мир – не ад и рай, а мир в маске и мир без маски. Шаламов именно это и доказывает, стараясь, чтобы его литература была «нулем» – той «нулевой степенью письма» (о ней писал Ролан Барт), которая не вносит в текст ни иллюзий, ни фантазий.

Собственно, в этом и состоит главное мучение для читателя: проза Шаламова лишена всяких иллюзий, в том числе иллюзии о том, что человек добр. От рассказа к рассказу низость, злобность, коварство раскрываются все полнее, человек опускается все ниже. В письме Солженицыну 1966 года Шаламов с легкостью крушит одну из главных российских иллюзий XIX – XX веков: «Спиридон – слаб, особенно если иметь в виду тему стукачей и секотов. Из крестьян стукачей было особенно много. Дворник из крестьян обязательно секот и иным быть не может» («Знамя», 1990, № 7).

Отсутствие иллюзий сформировало и особый стиль, в котором хищная наблюдательность соединилась с бесстрастностью, отсутствием успокаивающего негодования.